

3. Ранняя русская драматургия (XVII – перв. пол. XVIII в.). Первые пьесы русского театра. М., 1972.
4. Ранняя русская драматургия (XVII – перв. пол. XVIII в.). Русская драматургия последней четверти XVII и начала XVIII в. М., 1972.
5. Ранняя русская драматургия (XVII – перв. пол. XVIII в.). Пьесы школьных театров Москвы. М., 1974.
6. Ранняя русская драматургия (XVII – перв. пол. XVIII в.). Пьесы столичных и провинциальных театров перв. пол. XVIII в. М., 1975.
7. Херасков М.М. Венецианская монахиня // Русская литература. Век XVIII. Трагедия. М., 1991.
8. Литературный сборник XVII века Пролог (Русская старопечатная литература XVI – перв. четв. XVIII вв.). М., 1978; Тематика и стилистика предисловий и послесловий (Русская старопечатная литература XVI – перв. четв. XVIII вв.). М., 1981.
9. Тархова Н. Русская драматургия на пути к Чехову // От Некрасова до Чехова. Русская драматургия второй половины XIX в. М., 1984.
10. Прутков К. Опрометчивый Турка, или Приятно ли быть внуком? // От Некрасова до Чехова. Русская драматургия второй половины XIX в. М., 1984.

М.Г. Уртминцева

«ПУШКИНСКИЙ ТЕКСТ» МЕМУАРНОГО ОЧЕРКА И.С. ТУРГЕНЕВА «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР У ПЛЕТНѢВА»

Нижегородский государственный университет

Современное восприятие творчества Пушкина неотделимо от того, как оно отложилось в творческой памяти русских писателей и поэтов, отразилось в созданных ими произведениях. Термин «пушкинский текст» был введен в научный оборот Б.М. Гаспаровым [1]. В понятии «пушкинский текст» для нас важны два образующих его аспекта: творчество Пушкина как текст, и пушкинский текст русской культуры, который одновременно является и генератором кодов его расшифровки, и самим кодом. Смысловые коды – это способы выражения авторской идеи, авторского «я». Они не сводятся к сюжетно-композиционному или архитектурному своеобразию и существуют на различных уровнях литературного произведения и за его пределами. В основе подхода к дешифровке смысловых кодов – отталкивание от «понятийного мышления» и интерпретация мемуарно-биографической прозы как художественного воплощения творческого опыта художника по «преобразованию» сознания читателя. Каковы особенности функционирования кодов в очерке Тургенева, что представляет собой «пушкинский текст» в воспоминаниях писателя?

В основании пушкинского текста, по мнению Ю.В. Шатина, лежат «три устойчивые черты прижизненного пушкинского мифа, ставшие объектом культурной коммуникации: *редукционизм*, связанный с приятием одних и неприятием других произведений Пушкина... *биографизм* – с отчетливыми попытками расшифровать произведения поэта как опыт биографии... *идеологизм* – стремление истолковать произ-

ведения поэта как отражение определенных идеологем его времени» [2, с. 234].

Очерк «Литературный вечер у Плетнёва», появившийся в «Русском архиве» в октябре 1869 г., открывал вышедший в ноябре того же года первый том собрания сочинений Тургенева в издании братьев Салаевых. Предпосланное четырем мемуарным очеркам¹ отдельное предисловие разъясняло позицию автора, который стремился убедить читателей в том, что его «западничество» – выражение гражданской позиции, сказавшейся во всем творчестве. Подтверждением сказанного является первый фрагмент воспоминаний, где Тургенев представляет себя наследником гражданской позиции Пушкина, впрочем, делая это весьма тактично.

Имя Пушкина в рассматриваемом очерке Тургенева – своего рода фундамент, на котором выстраивается его свертхтекст, т.е. происходит расширение границ текста, приобретающего способность вызывать изменения в нашем восприятии его [3, с. 14; 4, с. 409]. Путь этого изменения – от реальности фактической к реальности художественной.

Основанием для обнаружения «персонального текста» является особый тип «чтения» Тургеневым-мемуаристом фактов биографии Пушкина, которого автор «вписывает» в контекст «смирного времени». Образ «смирного времени» в очерке Тургенева внутренне конфликтен: его нравственная характеристика вырастает из существующего в нем биографически и творчески пушкинского текста. Пушкинский текст в этом случае может быть восстановлен как художе-

¹ «Литературный вечер у Плетнёва», «Воспоминания о Белинском», «Гоголь», «По поводу «Отцов и детей»».

ственный и соотнесен с анализом произведений, созданных поэтом в это время². Однако более правомочным, на наш взгляд, является соотнесение сообщаемых Тургеневым фактов последних месяцев жизни поэта с его биографией. Именно этот принцип повествования характеризует мемуарный очерк писателя и может стать основанием для интерпретации внутренних схождений текстов мемуарной прозы Тургенева и Пушкина.

Среди пушкинской автобиографической прозы 30-х гг.³ особое место занимает дневник 1834 г. Дневниковые записи поэта дают основание предположить, что его мнение как человека и художника часто звучит в диссонанс с общим настроением эпохи: будучи в тесном контакте с правительственной сферой, он по своему пытался влиять на нее, чувствуя личную ответственность за историческое время, которое воспринимал как часть собственной жизни.

В очерке Тургенева Пушкин не является главным действующим лицом, имя его упоминается в очерке всего *четыре* раза, но именно вокруг него возникает текст особой «плотности». Тургенев дает характеристику эпохи 30-х, размышляя о тех ее приметах, суждение о которых обнаруживаем и в дневнике Пушкина: о правительственной сфере, о состоянии отечественной словесности, цензуре и т.д. Этот тип «пересечений» представляет собой внешний пласт очевидных сближений, которые можно рассматривать как систему внешних кодов очерка. Менее очевидны те, которые образуют внутренний «сюжет» воспоминаний Тургенева: это своеобразная «переключка» художественных произведений, созданных Пушкиным в середине 30-х («История Пугачёва», «Капитанская дочка»), а Тургеневым в 60-е гг. (рассказы «Призраки», «Довольно», роман «Дым»). Этот «сюжет» сближений в воспоминаниях Тургенева также обладает смыслопорождающим эффектом.

Описываемый Тургеневым вечер (о чем свидетельствует составленная М.Е. Клеманом «Летопись жизни и творчества Тургенева») [5, с. 24] состоялся не в указанное Тургеневым время – начало 1837 г., а 9 марта 1838 г., когда Пушкина уже не было в живых. Эта хронологическая оплошность Тургенева, о которой не знает читатель, – ключ к расшифровке образа *порога*, возникающего в первой портретной зарисовке Пушкина. Он появляется перед Тургеневым на пороге, в передней Плетнёва. Это был «человек среднего роста, который, уже надев шинель и шляпу и прощаясь с хозяином, звонким голосом воскликнул: “Да! да! хороши наши министры! нечего сказать!” – засмеялся и вышел. Я успел только разглядеть его белые зубы и живые, быстрые глаза» [6, с. 264]. Бытовой

факт под пером Тургенева превращается в символический образ *порога*, времени, с которого начинается его литературная биография.

«Пушкинский текст» вскрывает глубинный пласт смысла этой части очерка. Он имеет характер диалога с молодым поколением 60-х, отрицающим авторитеты. Мемуарист создает образ поэта, используя максимальную степень сочетаемости слов, соединяя в синонимичный ряд имя Пушкин и слова: полубог – авторитет – вождь. Пушкин, как утверждал Тургенев, был для представителей поколения 30-х гг. наставником, вождем, личностью, обладавшей независимостью собственных мнений. Однако, как свидетельствует одна из дневниковых записей поэта, Пушкин, по-видимому, отрицательно относился к тому, чтобы его рассматривали как вождя и выразителя радикальных настроений, обострившихся в обществе в связи с польскими событиями.

В записи от 11 апреля 1834 г. Пушкин приводит пространную выдержку из статьи, опубликованной во «Франкфуртском журнале»⁴, где его имя упоминается Лелевелем, польским историком, одним из деятелей польского восстания 1830–1831 гг., как имя одного из лучших русских поэтов, чье творчество «раскрывает политическое устремление русской молодежи» [7, с. 561]. Приведя выписку из статьи, Пушкин никак не комментирует ее, обрывая запись многозначительным многоточием. Оценка польского восстания была дана поэтом в стихотворении «Клеветникам России» и возвращаться к тому, что было высказано, он не счел необходимым.

В записи, относящейся к третьему июня того же года, находим суждение Пушкина о том, какой резонанс в обществе произвела смерть князя Кочубея, бывшего председателя Государственного совета и Комитета министров. «...Государь был неутешен. Новые министры повесили голову. Казалось, смерть такого ничтожного человека не должна была сделать никакого переворота в течении дел. Но такова бедность России в государственных людях, что и Кочубея нечем заменить... <...> ...Без него Совет иногда превращался только что не в драку...» [7, с. 54].

Поразительно совпадение смысла этих строк с тем, что понималось под авторитетом в среде университетской молодежи, от лица которой говорит Тургенев. «Сколько я помню, – пишет мемуарист, – никому из нас (я говорю об университетских товарищах) и в голову не пришло бы преклониться перед человеком потому только, что он был богат или важен, или очень большой чин имел; *это* обаяние на нас не действовало – напротив...» [6, с. 264]. Таким образом, мнение о действительности авторитетов и механиз-

² «Медный всадник», «Арап Петра Великого», «Русалка», «Египетские ночи» и др.

³ Воспоминания о Державине, Первая и Вторая программы записок, начало автобиографии, «анекдоты» под рубриками «Table Talk», «Разговоры с Н.К. Загряжской».

⁴ Франкфуртский журнал – Journal de Francfort – газета на французском языке, издававшаяся во Франкфурте-на-Майне.

ме их формирования в представлении Пушкина, включенное в анализ суждений Тургенева об этом же предмете, придает полемике мемуариста с молодым поколением характер философского обобщения.

Другой важной «темой» воспоминаний Тургенева в этой части очерка является тема «независимости собственного мнения», которое рассматривается им как важнейшее завоевание личности. Своеобразный «параллельный» сюжет есть и в дневнике Пушкина. 17 января Пушкин записывает в дневнике свой разговор с государем о «Пугачёве» (на балу у графа Бобринского) и замечает: «Государь мне о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его» [7, с. 35]. Однако Пушкин нисколько не сомневался в том, что его независимость не может быть одобрена. 10 мая поэт с негодованием сообщает о том, что его частное письмо к Наталье Николаевне, в котором он дает ей «отчет о присяге великого князя, писанный, видно, слогом не официальным», вскрыто полицией и прочитано государем. «Но я могу, – замечает Пушкин, перефразируя известный ответ Ломоносова графу Шувалову, – быть подданным, даже рабом, но холопом и шутком не буду и у царя небесного» [7, с. 50]. Пушкина возмущает посягательство на тайну переписки, нарушенную царем, который дал ход «интриге, достойной Видока и Булгарина» [7, с. 50]. Красноречива запись, сделанная Пушкиным 22 декабря, где поэт в разговоре с великим князем Михаилом Павловичем ставит себя, как представителя старинного дворянского рода, наравне с царствующими особами, замечая, что «...все Романовы революционеры и уравниатели» [7, с. 562]. Как видим, независимость мнения Пушкина – это форма проявления высоких нравственных принципов человека, убежденного в том, что и он лично как русский дворянин вершит судьбу Отечества.

Вторая встреча Тургенева с Пушкиным произошла на утреннем концерте в доме Энгельгардта за несколько дней до гибели поэта. Пушкин «стоял у двери, опираясь на косяк и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал вокруг» [6, с. 265]. Смысл портретной зарисовки реализован в нескольких ключевых словах, определяющих «прочтение» внутреннего состояния поэта: «опираясь на косяк», «посматривал вокруг», «с досадой повел плечом», «казался не в духе». Тема одиночества Пушкина в светской «толпе», неприятие многих его произведений выразилась в замечании Тургенева: «...правду говоря, не на Пушкине сосредоточивалось внимание тогдашней публики... Марлинский все еще слыл любимейшим писателем, барон Брамбеус царствовал... <...> ...На Кукольника взирали с надеждой и почтением...» [6, с. 268]. Тема одиночества Пушкина в «толпе» сопрягается с тезисом Тургенева о том, что «литературы (в то время в России. – М.У.) в смысле живого проявления одной из общественных сил... не было... как не было... гласности, как не было личной

свободы; а была словесность» [6, с. 270]. Дневник Пушкина, напряженно работающего над созданием произведений на русскую тему, представляет собой документальный факт, подтверждающий мнение Тургенева о страшной силе инерции в общественном сознании эпохи.

Дневниковые записи поэта пестрят упоминаниями о бесконечных балах, которые утомляют и раздражают поэта. Запись 6 марта: «Слава богу! Масленица кончилась, а с нею и балы» [7, с. 36]. 28 ноября бал у Бутурлина. «Бал был прекрасен», – пишет поэт [7, с. 56]. На этом балу Пушкин узнал о возвращении царя в Петербург. Пушкин ждал его возвращения из-за границы, так как без него уже отпечатанного «Пугачёва» не выпускали в свет.

Бал в Аничковом дворце 5 декабря описывается Пушкиным во всех подробностях «в пользу будущего Вальтер Скотта», иронически замечает он и перечисляет наряды, плюмажи, шляпы и т.д. В это время Пушкин работает над историей Петра («С генваря очень я занят Петром... Придворными сплетнями мало занят. Шиш потомству» [7, с. 62], но, как известно, с 1833 г. (дневник от 4 декабря) начинает записывать рассказы Н.К. Загряжской, которых, по свидетельству П. Вяземского, «Пушкин заслушивался... Он ловил при ней отголоски поколений и общества, которые уже сошли с лица земли... в беседе с нею находил необыкновенную прелесть историческую и поэтическую» [7, с. 542]. Поэт понимал, что история Петра как история русской государственности не может быть воссоздана только путем обработки официальных исторических документов, ее неотъемлемой частью должна была быть и судьба отдельного человека. В воспоминаниях Тургенева Пушкин предстает перед читателем личностью, в судьбе и творчестве которой выразилась целая эпоха, именно поэтому зарисовка мимолетного впечатления от внешнего облика поэта на утреннем концерте приобретает в контексте очерка символический характер.

Эпоха 30-х гг., не принимавшая во внимание Пушкина-художника и философа, не стала эпохой литературы как «живого проявления одной из общественных сил» [6, с. 270], а была, скорее, по словам Тургенева, временем существования «словесности». Осознание литературой своего значения в общественной жизни России происходит, как следует из воспоминаний Тургенева, в творчестве Пушкина.

Подтверждением этой мысли Тургенева являются записи в дневнике Пушкина от 2 апреля 1834 г. Избегая давать прямую характеристику Кукольникову, поэт так излагает свои впечатления от знакомства с ним у кн. Вяземского: «Не знаю, имеет ли он талант. Я не дочел его “Тасса”, и не видал его “Руки” etc. Он хороший музыкант. Вяземский сказал об его игре на фортепьяно: “ Il bredouille en musique comme en vers” (Он лепечет в музыке как в стихах)» [7, с. 41]. Для Пушкина, уже имевшего опыт создания историчес-

кой трагедии «Борис Годунов», было ясно, что старая форма стихотворной драматической литературы не отвечает характеру времени, а историческое событие, в котором не выражено личное отношение автора к изображенным характерам, остается фактом истории, а не литературы.

Пушкинское понимание того, что историческая эпоха преломляется в судьбах отдельных людей, подтверждается его замечанием о характере восприятия повести «Пиковая дама»: «Моя “Пиковая дама” в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Натальей Петровной и, кажется, не сердятся...» [7, с. 43]. Пушкин в этой фразе *дважды* говорит о том, что «Пиковую даму» его современники восприняли как анекдот из жизни Н.П. Голицыной. Это полностью лишало повесть философского подтекста. Между тем пушкинская философия случайного в «Пугачёве», которого, как пишет автор, в «публике очень бранят», представляет собой основной критерий оценки исторического события, запечатленного в художественной форме записок Гринёва. Не желая подлаживаться под господствующий тон, о котором говорит Тургенев, Пушкин пишет не то и не о том, тем самым «не совпадая» в выборе тем и сюжетов с общей благодушной атмосферой времени.

Пушкинский миф претерпел значительные изменения после смерти поэта. «Редукция стала *универсализмом*, биография – *жизнью*, а идеология – *вочеловеченной соборностью*» [2, с. 236]. Время смены кода первичной культурной коммуникации – середина XIX в., а время его закрепления – 1880 г. и связанные с ним юбилейные торжества в связи с открытием памятника Пушкину. В это время происходит своеобразная канонизация этих текстообразующих ориентиров.

Таким образом, ставя перед собой задачу исследовать «пушкинский текст» в мемуарном очерке Тургенева, написанном в конце 60-х гг., нельзя не принимать во внимание эту «смену веков». Воспоминания Тургенева не «вписываются» в рамки какого-либо одного из тех коммуникативных кодов, о которых шла речь выше, несмотря на то, что черты прижизненного мифа не могли не проявить себя в литературных и житейских воспоминаниях писателя, корни литературной биографии которого вырастают из пушкинских 30-х. Тургенев не ставил перед собой задачу дать анализ литературного процесса: задумывая серию мемуарных очерков, он стремился акцентировать в них сугубо субъективную оценку эпохи 30-х гг. Но это была оценка опытного, состоявшегося писателя, поэтому, интерпретируя ее, мы обращаемся к анализу как текстовой, так и внетекстовой реальности биографического характера – дневнику Пушкина 1834 г.

Литература

1. Гаспаров Б.М. Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования. М., 1996.
2. Шатин Ю.В. «Пушкинский текст» как объект культурной коммуникации // Сибирская пушкинистика сегодня. Новосибирск, 2000.
3. Меднис Н.Е. Сверхтексты в русской литературе. Новосибирск, 2003.
4. Топоров В.Н. «Младой певец» и быстротечное время: К истории одного образа в русской поэзии первой трети XIX века // Russian Poetics. Columbus, 1983.
5. Клеман М.Е. Летопись жизни и творчества Тургенева. М.; Л., 1934.
6. Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. Т. 10. М., 1956.
7. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 8. М.; Л., 1951.

В.И. Габдуллина

«БЛУДНЫЙ СЫН» КАК МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ: ЕВАНГЕЛЬСКИЙ МОТИВ В КОНТЕКСТЕ БИОГРАФИИ И ТВОРЧЕСТВА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Барнаульский государственный педагогический университет

Евангельская притча о блудном сыне – один из наиболее часто воспроизводимых в художественной литературе эпизодов Священного писания, очевидно, в силу содержащейся в нем житейской мудрости, отражающей человеческий опыт взаимоотношений «отцов» и «детей» в ситуации нравственного выбора, который получил воплощение в эмпирическом плане сюжетного повествования притчи. Не менее значим в этом отношении и второй, символический план сюжета, связанный с ее духовным содержанием. Как

пишет А.В. Чернов, архетип блудного сына «изначален и определяющ»: «Им задан ритм не только отдельной частной жизни, но и всей мировой истории. Все человечество, весь “многообразный” Адам – это блудный сын, отошедший после грехопадения от Отца и возвращающийся к нему через мучения, страдания, заблуждения...» [1, с. 152].

В истории функционирования указанного притчевого сюжета в русской литературе выделяются два варианта его интерпретации. Модель взаимоотноше-